



Лев ШЕСТОВ

Похвала глупости

По поводу книги Николая Бердяева «Sub specie aeternitatis» *

Den Leib möcht ich noch haben,
Den Leib so zart und jung;
Die Seele konnt ihr begraben.
Hab' selber Seele genug.

*Н. Heine***

I

Не в насмешку, как это сделал в старину знаменитый Эразм Роттердамский¹, а искренне и от всей души начинаю я свое похвальное слово глупости. И в этом новая книга Бердяева во многом поможет мне. Он мог бы, если б захотел, назвать ее по примеру своего давно умершего коллеги похвалой глупости, ибо задача ее — вызов здравому смыслу. Правда, в ней собраны статьи за шесть лет, так что, собственно говоря, полного единства задачи нет и быть не может. Шесть лет — огромный срок, и даже не только такой писатель, как Бердяев, но и всякий другой в большей или меньшей степени изменяется за столь продолжительное время. Книга начинается давно написанной статьей «Борьба за идеализм», в которой автор держится еще

* Под знаком вечности (лат.). — А. Е.

** Я хотел бы побольше плоти,
Она такая юная и нежная;
А душу вы можете забрать себе,
Ее у меня довольно.

строго кантовской точки зрения, как известно, допускающей и здравый смысл и все сопутствующие ему добродетели. Затем постепенно автор эволюционирует и в конце книги уже открыто объявляет войну здравому смыслу, противопоставляя ему, однако, не Глупость, как то делается обыкновенно, а Большой Разум. Конечно, можно и так выразиться, можно Глупость называть Большим Разумом, и это, если угодно, имеет свой глубокий смысл, точнее, глубокую ядовитость. Ибо что может быть обидней и унижительней для здравого смысла, чем присвоение Глупости почетного титула Большого Разума? Ведь до сих пор здравый смысл считался отцом и ближайшим другом всяких разумов, больших и малых. Теперь же Бердяев, пренебрегая родословными и исторически сложившейся геральдикой, возводит «противоположность здравого смысла», т. е. Глупость, в сан Большого Разума. Несомненно, великая дерзость, но Бердяев — писатель, дерзкий по преимуществу, и в этом, по моему мнению, его лучшее качество. Я сказал бы, что в его дерзости — его дарование, его философский и литературный талант. Как только она покидает его, иссякает источник его вдохновения, ему нечего сказать, он перестает быть самим собою. Но я забежал несколько вперед. Вернемся к его эволюции, вернее, к эволюции его идей.

Я уже указал, что Бердяев, как и всякий думающий человек, за шесть лет много раз менял свои убеждения или свои идеи. Философские, конечно. В своих политических воззрениях он проявляет несравненно большую устойчивость и постоянство. Он был и остался демократом и даже, кажется, социалистом. Это любопытно. Отчего люди гораздо легче меняют свои философские убеждения, чем политические? Такая же сравнительная прочность политических убеждений наблюдается и у других писателей, проделавших вместе с Бердяевым эволюцию от марксизма через идеализм к мистицизму и даже к положительной религии. Например, хотя бы Булгаков. Если бы он проявил ту же быстроту в смене политических убеждений, быть бы ему теперь либо в черносотенниках, либо в максималистах, т. е. где-нибудь на последней окраине политического поля. Но он как был, так и остался вместе с Бердяевым и демократом, и социалистом. Правда, он уже не благоговеет пред Марксом — но лишь в области теории. В практических вопросах он остался верным себе, так что существовавший в представлении публики неразрывный nexus idearum между православием и реакционерством должен считаться отныне окончательно

разорванным *. Теперь много — даже среди молодежи — учеников Булгакова, таких, которые вместе со своим учителем пекутся о православной церкви и все-таки не воспевают ни земских начальников с розгами, ни военно-полевых судов, ни неограниченной власти министров. Чем же объясняется непостоянство философских убеждений у людей, в политическом отношении стойких и непоколебимых? Ясно, что не характером. Ибо нельзя же одновременно иметь и стойкий, и изменчивый характер.

Оставляю пока вопрос без ответа, но обращаю внимание читателя на другую особенность идейного развития Бердяева (то же и Булгакова). Как только он покидает какой-либо строй идей ради нового, он уже в своем прежнем идейном богатстве не находит ничего достойного внимания. Все — старье, ветошь, ни к чему не нужное. Например, экономический материализм. Когда-то (в своей первой книге) Бердяев восторгался им, правда, не в его чистом виде, а в соединении с кантианством, и считал, что в нем все истины. Теперь он уже в нем не видит ни одной истины. Я и ставлю вопрос: разрешается ли философу такая безумная расточительность? Ведь, того и гляди, у материалистов были хоть крупички истины?! Неужели пренебрегать ими? Или впоследствии, когда пришлось снова сниматься с места и покидать старика Канта, Бердяев все бросил, ничего не подобрал, словно бы его тяготила всякая поклажа, и налегке помчался к метафизике, заранее уверенный, что он найдет у нее и тучные стада, и огромные поля, — словом, все, что нужно человеку для пропитания. Потом бросил метафизику и ринулся в глубину религиозных откровений. На страницах «Вопросов жизни»² пред читателем развернулась история обращения Бердяева из метафизика в верующего христианина. Обращение, в особенности поражающее своей порывистостью. Даже для Бердяева слишком скоро. Он стал христианином, прежде чем выучился четко выговаривать все слова Символа веры. Метаморфоза, очевидно, произошла за порогом сознания. В своей статье «О новом религиозном сознании», в которой он впервые начи-

* См. недавно вышедшую книгу Булгакова «Краткий очерк политической экономии». В ней проводится очень либеральная точка зрения, нисколько не уступающая другим либеральным точкам зрения. В обыкновенных политических экономиях гуманные взгляды (о возмутительности крепостного права, гаремов, ростовщичества, эксплуатации рабочих и т. д.) обосновываются на морали, у Булгакова — на религии. В этом вся разница.

нает говорить о Христе, богочеловеке, человекобоге и т. п., он обрывается, заикается, словом, обнаруживает все признаки того, что попал в чуждую и незнакомую ему область, где придется двигаться наугад и ощупью. Между прочим, следует отметить тот любопытный факт, что все наши писатели, пришедшие к христианству путем эволюции, никак не могут научиться по-настоящему выговаривать святые слова. Даже Мережковский, вот уже сколько лет упражняющийся на богословские темы, не дошел до сих пор до сколько-нибудь значительной виртуозности, несмотря на свое несомненное литературное дарование. Настоящего тона нет. Вроде того, как человек, в зрелом возрасте изучивший новый язык. Всегда узнаешь в нем иностранца. То же и Булгаков. Он оригинально решил трудную задачу и с первых же статей стал выговаривать слово «Христос» тем же тоном, которым прежде произносил слово «Маркс». И все-таки Булгаков, несмотря на все преимущество простоты и естественности манеры (ибо ее не пришлось менять), не удовлетворяет чуткого слуха. В этом отношении их всех далеко превосходит Розанов, хотя, как известно, он в Христа не верит и Евангелие не признает. Но он с детства был воспитан в правилах благочестия, не знал увлечений дарвинизмом и марксизмом и сохранил себя нетронутым. Я думаю, что ни Мережковский, ни Булгаков, ни Бердяев никогда не сравнятся с Розановым. Булгаков, видно, это чувствует и от религиозных исканий переходит к вопросам церкви, к церковной политике. Здесь, пожалуй, он будет на своем месте. Политика, вопросы общественного устройства — старое, близкое, родное дело.

Из сказанного следует многое... Прежде всего, что идейная эволюция, которая в старину проделывалась так трудно и с такой чрезвычайной медленностью, а теперь проходит с такой легкостью и быстротой, вовсе не знаменует собой глубоких внутренних изменений. Булгаков, когда был марксистом, был таким же хорошим человеком, как и теперь. Бердяев, кантианец или метафизик, Мережковский, ницшеанец или христианин, — с внутренней стороны разницы нет. *Cuculus non facit monachum* *. И вообще, видно, старики ошибались, когда думали, что философские идеи нужно так тщательно оберегать от ржи и моли и всегда держать в сухом месте, чтобы не испортились. Политические убеждения — дело другое. В политике переменил убеждения — меняй друзей и врагов, стреляй в тех, кого вчера защищал грудью, и наоборот. Тут призадуматься.

* Клобук не делает монахом (лат.). — А. Е.

Ну, а перейти от кантианства к гегелианству и даже, *horribile dicti* *, — к материализму, что кому от этого делается? Я даже не вижу никаких оснований для человека, который хорошо знает несколько философских систем, непременно эволюционировать от одной к другой. Дозволительно, смотря по обстоятельствам, верить то в одну, то в другую. Даже в течение дня переменить две-три. Утром быть убежденным гегелианцем, днем держаться прочно Платона, а вечером... бывают такие вечера, что и в Спинозу уверуешь: такой неизменной покажется наша *natura naturata*. Трудно только добровольно согласиться, что за добродетель не следует никакой награды. Следовало бы, по правде сказать, даже очень бы следовало. Но раз *Deus sive natura, sive substantia* ** так устроен, что и сам не может никак изменить своей природы, — ничего не поделаешь, поневоле примиришься и постарайся утешиться созерцанием мира *sub specie aeternitatis*.

II

Впрочем, Бердяев, хотя и заимствовал заглавие для своей книги у Спинозы, отнюдь не стоит на точке зрения Спинозы, и я тоже сейчас, хотя теперь и вечер, вернее, глубокая ночь, менее всего расположен к спинозизму. Мы оба сходимся в одном. Мы ненавидим всякого рода *ratio* и противопоставляем ему: Бердяев — Большой Разум, я — Глупость. Аргумента в защиту своего термина мне можно, кажется, не представлять, и это тем удобнее, что у меня, собственно говоря, и никаких особенных аргументов нет. Просто не люблю торжественных слов вроде Большого Разума, метафизики, сверхчувственности, мистицизма. Если это недостаток — то снисходительный читатель, наверное, простит. Тем более что в настоящей статье за торжественными словами дело не станет. Бердяев, в противоположность мне, их очень любит, и в цитатах из его книги их найдется немало. Итак, посмотрим, что может сделать и сказать Бердяев во славу Глупости (пишу Глупость с большой буквы по примеру Бердяева, который Большой Разум так пишет). Лучшей в этом и во всех прочих отношениях статьей его является статья «К. Леонтьев, философ реакционной романтики». Леонтьева у нас даже и по слухам не знают, а кто знает, может

* страшно сказать (*лат.*). — А. Е.

** Бог или природа, или субстанция (*лат.*). — А. Е.

только два слова сказать о нем: сотрудник «Московских ведомостей» и «Русского вестника» — стало быть, реакционер³. Между тем уже по цитате из сочинений, приведенной Бердяевым в эпиграфе к своей статье, сразу видно, что мы имеем дело с личностью незаурядной, замечательной. Судите сами. Леонтьев говорит: «Не ужасно ли и не обидно ли было думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели свои пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того* только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия». И еще: «Надо *подморозить* хоть немножко Россию, чтоб она не гнила». Уже по приведенным словам сразу видно, что мы имеем дело с духом смелым, своеобразным, независимым. Или еще пример: «Именно эстетику-то приличествует во времена неподвижности брать за движение, во времена распушенности за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства, ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко *libre penseur*’ом* («немножко», вероятно, для цензуры и редактора) при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии». Такова рода откровенность даже в наше время, когда прежняя внутренняя цензура почти совсем отменена, нечасто встретишь. Сам Бердяев, открывший для русского читателя Леонтьева и с радостью и уважением отмечавший независимость его мысли, в конце концов подвергает его суждения догматической критике. Предание, традиция тяготеют над ним, и пример Леонтьева при всей своей соблазнительности кажется ему слишком рискованным и опасным, благодаря чему как в этой, так и в других статьях подмечается у него странная двойственность. Сердцем он сочувствует Леонтьеву, радуется державной свободе его души, гибкости и легкости его мысли, но ум, вернее, умы, малый, средний и большой, все восстают против бедного сердца со своими категорическими императивами. «Ты не должен в своих суждениях считаться ни с чем, кроме единой и вечной истины», — кричат они властными голосами, и Бердяев, недавно на минуту насладившийся вместе с Леонтьевым прелестью общения с легкомысленной,

* свободомыслящий, вольнодумец (*фр.*). — А. Е.

капризной, но изящной и очаровательной Глупостью, послушно возвращается на свое место и отрекается и от себя, и от Леонтьева.

Чудесно начатая статья кончается проектом соглашения между Глупостью и здравым смыслом, соглашения, при котором все выгоды на стороне последнего. Бердяев никак не может окончательно поверить, что Глупость имеет свои законы, не подлежащие ни контролю, ни ограничению права. Она прекрасна, спору нет, здравый смысл до смерти надоел и скучен, как старая ханжа, но все же повиноваться нужно ему, а Леонтьев подлежит укрощению. И все почти статьи Бердяева написаны по тому же плану, что статья о Леонтьеве. Синтез ли тут замешан (вернее всего, что синтез) или что иное — не могу точно сказать. Начинает обыкновенно Бердяев с того, что набросится на здравый смысл, кричит, бранит его, с грязью смешивает, топает ногами. Бедный здравый смысл, совершенно не привыкший к такому обращению (мне кажется, что никто из наших писателей не умеет так свысока и пренебрежительно разговаривать со здравым смыслом, как Бердяев), дрожит, теряется, не знает с испугу, что сказать в свое оправдание. Он не может вынести такого к себе отношения: до сих пор обыкновенно кричали и топали ногами, когда разговаривали с Глупостью. Но под конец статьи Бердяев обязательно смягчается и вновь возвращает здравому смыслу если не все, то хоть часть исторически признанных за ним прав. Поэтому его книга может быть интересна и полезна для людей разнообразных вкусов. Кому нравится здравый смысл, тот пусть обращает преимущественное внимание на заключительные страницы статей, кто любит Глупость — пусть читает главным образом начало: жалеть не будет. Мне, как я уже признался, больше по сердцу Глупость. Не то, чтоб я был уверен в ее окончательной победе над здравым смыслом. Уверенности такой у меня нет. Но ведь не возбраняется иногда и идеализировать жизнь, т. е. верить тому, чего не бывает, и не верить тому, что бывает. Есть даже идеалистические философские направления. Многие люди постоянно и систематически верят в несуществующее и никогда не верят в действительность. Я позволяю себе иногда роскошь добровольного заблуждения и с истинным наслаждением перечитываю те места книги Бердяева, в которых приводятся его собственные или чужие глупости, и верю им, верю, хотя бы они тысячу раз противоречили всякой несомненности и очевидности. Он, например, говорит: «Мистический реализм ведет не к статическому догматизму, а к *догматизму динамическому*

(подчеркнул я), всегда двигающемся, творческому без границ, прозревающему и преображающему. Живая и реальная мистика всегда должна что-нибудь открывать, что-нибудь утверждать, должна опыты производить и рассказывать об испытанном и увиденном, она догматична во имя движения, чтобы движение действительно было, чтобы в движении что-нибудь происходило». Т. е. адогматический догматизм, или догматический адогматизм, так называемое *contradictio in adjecto**; движущийся покой, деревянное железо и т. д. Я спрашиваю, какой еще писатель имеет дерзновение так открыто противоречить законам логики и так мало о логике (том же здравом смысле) заботиться?! И это уже в самом начале книги, в предисловии! Мне только ужасно жаль, что Бердяев употребляет так много незнакомых публике иностранных терминов. Благодаря этому смысл его речей для большинства темн. Пожалуй, найдется немало читателей, которые, пробежавши приведенные строки, вовсе и не оценят их по достоинству. Подумают, что это обыкновенная ученость, трудная для понимания именно потому, что очень строго придерживается логики и боится согрешить пред законом противоречия. А теперь не угодно ли отрывок из послесловия: «Никакая наука не может доказать, что в мире невозможно чудо, что Христос не воскрес, что природа Божества не раскрывается в мистическом опыте, — все это просто вне науки, у науки нет слов, которые выразили бы не только что-либо положительное в этой области, но хоть и что-либо отрицательное. Положительная наука может только сказать: по законам природы, открываемым физикой, химией, физиологией и прочими дисциплинами, Христос не мог воскреснуть, но в этом она только сходится с религией, которая тоже говорит, что Христос воскрес не по законам природы, а преодолев необходимость, победив закон тления, что воскресение Его есть таинственный мистический акт, к которому мы приобщаемся только в религиозной жизни». Наука, положим, говорит не так, но до науки нам сейчас дела нет. У Бердяева же получается, что законы природы и существуют, и не существуют. Ибо чудеса не только возможны, но даже и происходили в действительности на глазах у людей. Бердяев вспоминает только о воскресении Христа. А воскрешение Лазаря, излечение слепых и паралитиков, а пятитысячная толпа, насытившаяся двумя хлебами и пятью рыбами, и т. д.? Все это известно нам из того же источника, из которого мы знаем о воскресении

* противоречие в объекте (лат). — А. Е.

Христа. Стало быть, в свое время нарушение законов природы было столь же обыкновенным явлением, как в настоящее время их ненарушимость. И стало быть, либо положение науки, что законы природы ненарушимы, вопреки логике, сосуществует с противоположным положением, что законы природы могут быть нарушаемы, либо оно прямо ложно. Это заключение, особенно близкое и дорогое мне, так же близко и дорого сердцу Бердяева. Он его формулирует в следующих словах: «Быть может, логические законы, которые держат нас в тисках, это лишь болезнь бытия, дефект самого бытия». Зачем только «быть может»? Прямо бы догмат: логические законы есть только болезнь бытия, и отсюда вывод: так как логика для нас необязательна, то, стало быть, законы природы одновременно и существуют, и не существуют. Так было бы лучше.

Впервые мысль о том, что законы природы и существуют, и не существуют, — мысль, проходящая через всю вторую половину книги Бердяева, высказана с особенной ясностью в статье «О новом религиозном сознании», посвященной Мережковскому.

По-видимому, самая мысль возникла у него отчасти под влиянием Мережковского. По-видимому, Бердяев считает себя многим обязанным этому последнему и не находит нужным скрывать этого обстоятельства. Темы Мережковского он считает гениальными и усваивает не только темы, но и любимые слова и выражения Мережковского (Ипостась пишет с прописной ижицы). Бердяев говорит: «Мережковский понял, что исход из религиозной двойственности, из противоположности двух бездн — неба и земли, духа и плоти, языческой прелести мира и христианского отречения от мира, что исход этого не в одном из Двух, а в Третьем: в Трех. В этом его огромная заслуга, огромное значение для современного религиозного движения. Мука его, родная нам мука, в вечной опасности смешения, подмены в двоящемся Лице Христа и Антихриста, в вечном ужасе, что поклонись не Богу Истинному, что отвергнешь одно из Лиц Божества, одну из бездн, не противный Богу, а лишь противоположный и столь же Божественный полюс религиозного сознания». Я лично не разделяю суждений ни Мережковского, ни Бердяева. Я даже не полагаю, что так поставленный вопрос о небе и земле может иметь большой интерес. Я нахожу, что Мережковский, заимствовавший и постановку вопроса, и его разрешение главным образом у Достоевского, ложно понял этого последнего. Основной человеческий вопрос есть отнюдь не вопрос моральный. Если сочинения Дос-

тоевского в том смысле недостаточно ясны и допускают различные толкования, то это лишь потому, что Достоевский, как и всякий человек нового слова и нового дела, не умел и не решился быть всегда только самим собой. Он пользовался многими старыми словами. И так как старое понятнее нового, то за старое и ухватились. Теология Достоевского есть принятое им готовое наследие. Так что, в сущности, Мережковский через голову Достоевского получил богатства, хранившиеся до него в старинных сокровищницах европейской культуры. То же, что принадлежало собственно Достоевскому, было признано Мережковским лишь на минуту — и потом предано забвению. Бердяев в этом следует примеру Мережковского. Правда, что Бердяев не всегда и не во всем соглашается с Мережковским, часто спорит с ним и иногда даже посылает ему несправедливые упреки. Например, он говорит: «У него (у Мережковского) часто не хватает художественного дара для творчества образов и мыслительного дара для творчества философских концепций». Если я правильно понимаю Бердяева, то в этих словах он высказывает общераспространенное мнение о Мережковском. Все говорят о Мережковском (о Минском тоже), что он холодный головной писатель, т. е. всем бы хотелось, чтоб Мережковский и Минский, прежде чем говорить о крестных страданиях, повисели бы с часик сами на крестах⁴. Иначе будто бы нельзя доверять их осведомленности. Какая дикость, некультурность! Из-за нового образа, из-за новой концепции добровольно на крест идти! И Бердяев, свой же брат писатель, повторяет такие вещи.

Это я, впрочем, только к слову заметил, тем более что все равно ни Мережковский, ни Минский не поддадутся соблазну. Ибо знают, что если уже выбирать, то лучше, чтоб страдали книги, чем их авторы. И затем, все, что нужно узнать для составления философских концепций, можно добыть более простым и менее рискованным путем. Сам же Бердяев пишет про Мережковского: «Он видел жизнь, смысл ее в греческой трагедии, в смерти богов языческих и рождении Бога христианского, в эпохе Возрождения с ее великим искусством, в воскресении древних богов, в таинственных индивидуальностях Юлиана Отступника и Леонардо да Винчи, в Петре Великом, Пушкине, Л. Толстом и Достоевском. Это романтическая черта в Мережковском — отвращение к мелким масштабам современности и благоговейное уважение к большим масштабам мирового прошлого, Мережковский переживал опыт былых великих времен, хотел разгадать какую-то тайну, заглянуть в душу таких

огромных людей, как Юлиан, Леонардо и Петр, так как тайна их казалась ему вселенской». Все это верно, Мережковский действительно очень начитанный человек и вложил много труда и усилий в свое дело, а все-таки вопрос о Духе и Плоти, о Небе и Земле в том виде, как его поставил и разрешил Мережковский, вовсе не есть столь кардинальный вопрос. Не было нужды делать столь огромное напряжение, писать и читать так много книг, чтобы доказать святость Плоти и Духа, Неба и Земли. Ибо даже после того как удалось доказать в такой степени, в какой это, по мнению Бердяева, удалось Мережковскому, — главный-то, основной вопрос остается все же открытым. И дух свят, и плоть свята — но где же ручательство, что освященное нами свято также и пред лицом вечности? А что, если тот же Спиноза, который всю жизнь искал вечности, прав, и *Deus sive natura, sive substantia*, не знающий ни добра, ни зла, ни радостей, ни страдания, ни святости, ни порочности, словом, стоящий вне человеческих целей, — если он, такой бог, был началом и источником жизни? И если созерцать жизнь *sub specie aeternitatis* — значит видеть в ней то, что видел бледный голландский отшельник? У Достоевского на эту тему много рассказано.

III

Такого вопроса Бердяев никогда себе не ставил и ставить не хочет. Основная его предпосылка (и даже не предпосылка, а нечто гораздо более прочное, как увидим ниже), исходное предположение: то, что ему нужно, он всегда найдет. Много он рассказывает о своих сомнениях и о том, как он преодолевал их. Но вся книга его говорит о том, что его сомнения никогда не могли сдвинуть с места заложенного в глубине его души гранита веры. Он сомневался в том, кто прав, Фихте или Гегель, Кант или Маркс, Михайловский или Мережковский, но он всегда был убежден, что, на чьей бы стороне ни оказалась правда, она все же будет иметь успокоительный, отвечающий человеческим желаниям характер. В этом отношении он сохранил старые традиции русской литературы. В своей статье «Н. К. Михайловский и Б. Н. Чичерин» он пишет: «Со смертью Михайловского как бы сошла со сцены целая эпоха в истории нашей интеллигенции, оторвалась от нас дорогая по воспоминаниям частица нашего существа, нашей интеллигентской природы. И каждый русский интеллигент должен живо чувствовать эту

смерть и должен задуматься на могиле Н. К. над своим историческим прошлым и над своими обязанностями перед будущим. Когда-то в дни ранней юности все мы зачитывались Михайловским, он будил нашу юную мысль, ставил вопросы, давал направление нашей проснувшейся жажде общественной правды. Потом мы ушли от нашего первоначального учителя, переросли его, но бьемся и до сих пор над поставленными им проблемами, так тесно сближавшими философию и жизнь. Это очень характерно: Михайловский никогда не был философом по способу решения различных вопросов и по недостатку философской эрудиции, но беспокоили его всю жизнь именно философские вопросы, и у порога его сознания уже поднимался бунт против ограниченности позитивизма. В этом он был типическим русским интеллигентом, полным философских настроений, но лишенным философской школы и связанным предрассудками позитивизма. Мы любили и любим Михайловского за ту духовную жажду, которая так резко отличает русскую интеллигенцию от мещанства интеллигенции европейской». Я думаю, что духовная связь и родство с Михайловским как Бердяева, так и других современных русских писателей (всей той группы, которая дала тон и направление «Проблемам идеализма» и «Вопросам жизни») гораздо теснее и прочнее. Михайловский не знал немецкой философии и смешивал трансцендентное с трансцендентальным. Михайловский не любил метафизики. Это, конечно, так. Но ведь это, право, дело вкуса, и при других обстоятельствах поколению 90-х годов вовсе не было бы и надобности ополчаться против старого учителя. И, пожалуй, слова «мы переросли его» менее всего подходят. Именно возрастом-то молодые писатели не старше Михайловского. Они приобщились к европейской культуре, читают Платона, интересуются Леонардо да Винчи, Боттичелли, заглядывают в Священное Писание, но молодостью, молодой верой запечатлены все их дела и помыслы. Вот этот гранит, который не могут сдвинуть с места никакие бури и сомнения,— он был у Михайловского, он есть и в Бердяеве и во всех его товарищах по литературе. Если бы Бердяев хотел со всей полнотой выразить смысл и значение своей духовной близости с Михайловским, ему бы следовало процитировать знаменитый отрывок из предисловия к полному собранию сочинений Михайловского. Хотя он всем известен, но я привожу его целиком для характеристики не Михайловского, а Бердяева: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово “правда”, я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном евро-

пейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда в этом огромном смысле слова всегда составляла цель моих исканий... Я никогда не мог поверить, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, в которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя». Правда-истина живет в мире и согласии с правдой-справедливостью, иначе говоря, существует нравственный миропорядок, вполне соответствующий человеческим понятиям о должном и недолжном, желательном и нежелательном. Притом Бердяев, как и Михайловский, как и предшественники Михайловского в русской литературе, не удовлетворяется позицией идеалистов. Идеалисты из немцев, как известно, утвердив понятие о должном, складывают руки. Им все равно уже затем, осуществляется ли в мире это должное или остается жить только в их головах. Михайловский, а за ним Бердяев такого рода отвлеченностью не удовлетворяются. Им подавай должное, которое осуществляется, если не сейчас на глазах и не здесь на земле, то хоть позже и подальше, но непременно осуществляется. Не немцы же мы в самом деле какие-нибудь. Пусть попытается кто-нибудь хоть на минуту, хоть в виду предположения вырвать у Михайловского или Бердяева допущение, что объективная истина сама по себе, а справедливость — сама по себе. Вперед говорю: даром время потратит. Поэтому я продолжаю настаивать, что Бердяев, как и Мережковский и Булгаков, только по недоразумению считает себя продолжателем дела Достоевского. Когда Достоевский висел на кресте, он усомнился во всем и до конца усомнился. Его книги выиграли от этого в напряженности — но его «философская концепция» потеряла всю сладость, свойственную так называемому синтезу. Разумеется, из того что Достоевский под пыткой отрекся от сладости, нисколько не следует, что Бердяеву, Мережковскому или Булгакову полагается пить уксус, смешанный с желчью. Я хотел только установить факт, что никогда еще сомнению не удалось подкопаться под непоколебимый гранит веры Бердяева в торжество добра и что в этом отношении он не уступает Михайловскому и имеет все преимущества пред Достоевским, не выдержавшим испытания. И это не психологическая догадка, а факт. Откуда я его добыл — не скажу, но, чтоб успокоить скептического читателя, сообщу, что добыл его отнюдь не путем мистического откровения, а общепризнанным эмпирическим путем.

При всем том Бердяев все-таки имеет (уже в противоположность Михайловскому) вкус к Глупости, и это обстоятельство кажется мне чрезвычайно отрадным. Если даже такие прочные, гранитные люди пресытились здравым смыслом и хоть для развлечения начинают искать общества Глупости, — значит, можно еще кое на что надеяться. Правда, основание не гранитное. Но по нынешним временам и того будет достаточно.

IV

Du choc des opinions jaillit la vérité*, говорят французы. Я этого не думаю. По мне, мнения могут себе сталкиваться, сколько им угодно, этим истины не выманишь. Она слишком умна и отнюдь не выскакивает при всяком шуме: ее и более тонкими ухищрениями не поймашь. Обычное последствие столкновения мнений — столкновение людей. Но все-таки так как в книге Бердяева, о которой я пишу, помещена статья «Трагедия и обыденность», посвященная мне, то я считаю себя обязанным ответить на представленные им возражения. Мне, в сущности, не столько даже возражать придется, сколько выяснять недоразумения. Бердяев в тех случаях, когда он со мной соглашается, приводит обыкновенно мои слова и подкрепляет их собственными соображениями. В тех же случаях, когда он хочет спорить, он уже не цитирует меня и даже не возражает собственно мне, а восстает против тех или иных философских воззрений, к последователям которых он меня причисляет, — по причинам, мне решительно неизвестным. По поводу моей книги «Апофеоз беспочвенности»⁵ он причисляет меня к скептикам, за «Философию трагедии» — к пессимистам и затем начинает доказывать несостоятельность скептицизма и пессимизма. Между прочим, и другие критики приписывают мне те же грехи. Хочу воспользоваться случаем и заявить (спорить ведь тут не приходится), что когда я впервые услышал, что меня окрестили скептиком и пессимистом, я просто протирал глаза от удивления. Правда, я не выражаю солидарности с существующими философскими системами и смеюсь над их самоуверенной торжественностью победителей. Но, господа, разве это значит быть скептиком? Правда и то, что я не считаю наш мир самым лучшим из возможных миров. Мне действительно ка-

* В спорах рождается истина (*фр.*). — А. Е.

жется, что он мог бы быть лучшим, т. е., собственно говоря, внешний мир мне очень нравится. Я люблю и день, и раннее утро, и сумерки, и глубокую ночь. Чудесны высокие снежные горы и зеленые долины. А как хороши безлюдные каменистые пустыни в Альпах! Даже зимняя метель и бесконечный осенний дождь имеют свою прелесть... Словом, во внешнем мире мне все или почти все нравится (сейчас вот даже не могу припомнить, что в нем есть дурного). Только человека обидела природа. Ему бы следовало быть умней, красивей, добрее, даровитей, богаче... Неужели желать этого — значит рисковать, что тебе пришлют ярлык пессимиста?! Или ежели не уверуешь ни в одну из существующих великих философских систем, то попадешь в скептики? Ведь из того, что до сих пор истина не открыта, никак не следует, что ее никогда не откроют. И тем менее, что истины совсем нет. Или тот человек, который ждет истины и не называет истиной первое встречное заблуждение, есть скептик? Я склонен думать обратное. По мне, именно скептики — люди, в глубине души убежденные в том, что нечего искать, ибо все равно ничего не найдешь, такие-то люди охотнее всего фанатически поддерживают однажды усвоенную систему. Затем если Бердяеву дозволено каждые полгода менять убеждения и если, судя по приведенному выше определению подвижного догматизма, он собирается начать их менять каждые полмесяца, то почему мне их не менять еще чаще? Это уже, так сказать, дело темперамента. Бердяев скор, а я еще скорее. Он уже во многие философии верит, а я уже верил во все и так привык менять их, что теперь, как я уже говорил, иной раз за один день сколько их переменишь! Это не скептицизм, а подвижный адогматический догматизм. Как видит читатель, выражение пришлось мне по вкусу. Прежде я говорил просто догматизм, теперь всегда буду говорить адогматический догматизм. В погоне за другими глупостями я эту просмотрел. Спасибо Бердяеву. Уже не забуду.

Второе — Бердяев, возражая мне, ловит меня на слове: «На этом месте, — говорит он, — я ловлю автора “Апофеоза”. Что такое свободная мысль, что такое мысль? Это уже некоторая предпосылка, ведь всякая мысль есть уже результат переработки переживаний, опыта тем убийственным инструментом, который мы называем разумом, в ней уже обязательно есть последовательность». Что правда — то правда. Поймал. Только зачем ловить было? И разве так книги читают? По прочтении книги нужно забыть не только все слова, но и все мысли автора и только помнить его лицо. Ведь слова и мысли — только несо-

вершенные средства общения. Нельзя душу ни сфотографировать, ни нарисовать, ну и обращаешься к слову. Давно известно, что мысль изреченная есть ложь. А Бердяев ловит меня. Вместо того чтобы, по человечеству сознавая, как невозможно найти адекватные выражения, прийти мне на помощь и догадаться, он мне в колеса палку вставляет. Совсем не по-товарищески.

Этим, кажется, исчерпываются все возражения Бердяева, т. е., по правде сказать, есть у него еще одно, хотя мимоходом сделанное, но очень существенное и важное. Его я, однако, касаться не буду, так как не умею на него ответить, а признаваться в этом не хочу. Пусть уж лучше никто ничего не знает.

В заключение от всей души приветствую книгу Бердяева и воспетую в ней Глупость. Бердяев несомненно человек очень даровитый, и в нашей литературе найдутся немногие, которые владели бы его искусством опорочивать здравый смысл и возвеличивать Глупость. Одно только нехорошо: Бердяев часто повторяет общепринятые, распространенные, привычные, так сказать, глупости. Это, по-моему, бесцельно. Ведь привычные глупости как две капли воды похожи на умные вещи. Так стоит ли с ними возиться? Всегда следует стараться выдумывать совершенно новые глупости, а если это не удастся, то откапывать хоть и бывшие в употреблении, но мало кому известные или забытые, словом, непривычные. Воспеть, например, Одина, рыжебородого Тора, нашего Перуна или хотя бы Магомета!⁶ Вот как Гете после поездки в Константинополь. Шлегель говорил про него, что он из язычества обратился в магометанство⁷.

Еще одно замечание. В послесловии своем Бердяев чересчур уже поносит эмпирический мир. Называет его коростой. В увлечении спором часто случается с человеком то же, что случилось с двум девицами, игравшими в шахматы. Забрали одна у другой королей и продолжали играть дальше. Нападая на позитивистов, Бердяев отказался от эмпирического мира. Неужели все о душе да о душе хлопотать?! А тело? Не знаю, заразил ли меня Леонтьев духом противоречия, но мне хочется сказать вместе с Гейне: «Die Seele könnt ihr begraben, hab' selber Seele genug».

